

КУКЛЫ ПОСЛЕДНИЙ ТЕАТР



ПЁТР БОЛЬШАКОВ

Пётр Большаков

Куклы. Последний театр.

<https://litres.ru/74371662>

SelfPub; 2026

Аннотация

Что останется после нас? Пыль под ногами или эхо наших голосов?

Представьте город-призрак. Представьте театр, ставший саркофагом цивилизации. И представьте, что его обитатели — не мертвые души, а ожившие механизмы, чьи шарниры помнят каждое движение человека, но сами они забыли, зачем существуют.

Худрук репетирует сцену прощания сорок седьмой раз. Капля плачет стеклянными слезами, которые никогда не прольются. А Скрипун слушает тишину, ожидая того, чего уже нет.

Но однажды в темноте зала раздается кашель. Живой звук. Он будит то, что должно было давно уснуть. И тогда начинается танец разрушения, где каждый шаг приближает конец.

Атмосфера тишины, ведущая к катастрофе. Интеллектуальный мистический триллер. Механические слёзы. Постапокалипсис без людей. Философская готика. Экзистенциальный хоррор.

Пётр Большаков

Куклы. Последний театр.

Пётр Большаков

«КУКЛЫ. ПОСЛЕДНИЙ ТЕАТР»

Пролог. Тишина

Он проснулся от того, что перестал слышать себя.

Раньше каждый скрип его полозьев возвращался к нему от стен, от пола, от железных ножек кресел. Звук огибал пространство, как вода огибает камень, и через секунду — или через две, он никогда не умел считать время — возвращался обратно, чуть приглушённый, но узнаваемый. Это был его голос. Это было доказательство того, что он ещё есть.

Теперь звук уходил в пустоту и не возвращался.

Скрипун лежал в оркестровой яме. Его полозья были прижаты к полу. Он не мог поднять головы, потому что у него не было шеи. Единственное, что двигалось, — глаза. Две чёр-

ные пуговицы на деревянной морде, прикрученные проволокой. Он повёл ими вверх — туда, где в щелях между досками сцены пробивался серый свет.

Он не знал, день сейчас или ночь. Не знал, сколько времени прошло с тех пор, как он в последний раз слышал скрип чужих шарниров. Но он знал, что тишина изменилась.

Не стала громче — это было бы слишком просто. Не стала плотнее, как вата, которой затыкают уши. Она стала другой. В ней исчезла глубина. Раньше тишина была как пустой зал — объёмная, с высокими потолками, с эхом, прячущимся за кулисами. Теперь она стала плоской. Как лист бумаги, приложенный к лицу. Звук упирался в неё и гас, не оставляя следа.

Скрипун попытался проверить. Он сделал то, что умел лучше всего, — качнулся. Тяжёлое деревянное тело на полозьях издало привычный, тысячекратно повторённый звук: скр-и-и-п. Звук вырвался из него, как выдыхают воздух после долгого молчания, и ушёл вверх — сквозь щели в сцене, в зал, к потолку, где когда-то висела хрустальная люстра.

Он ждал ответа.

Прошла секунда. Или минута. Он не умел считать.

Ответа не было. Звук не вернулся. Он растворился, как сахар в холодной воде, — бесследно.

Скрипун почувствовал, как его деревянные внутренности сжались. Это не было страхом — у него не было нервов, чтобы бояться. Это было что-то более простое и более страшное: осознание того, что его голос больше не нужен. Что некому его слышать. Что даже эхо, его верный собеседник, с которым он перешёптывался в темноте долгие годы, исчезло.

Он закрыл глаза-пуговицы — просто перестал смотреть, потому, что смотреть было не на что.

И тогда он услышал кашель.

Короткий. Сухой. Надтреснутый, как старая кожа. Раздался сверху — с балкона, где когда-то сидели те, кто дышал.

Скрипун открыл глаза. В щелях сцены по-прежнему сочился серый свет. Пыль висела неподвижно.

Он не мог поверить своим ушам, потому что ушей у него не было — только два отверстия в деревянной голове, в которые когда-то были вставлены бутафорские рожки. Но он слышал. Не механически, не как регистратор звука — он по-

нял значение этого кашля. Это был голос живого горла. Горла, в котором есть влага, слизь, воздух, выталкиваемый из лёгких.

Скрипун замер. Его полозья прижались к полу. Он старался не дышать, хотя и не умел дышать.

Кашель не повторился.

Тишина вернулась — плоская, неживая, без глубины. Но теперь она была другой. Не просто пустой — ожидающей.

Скрипун понял, что с этого момента он будет ждать. Он не знал чего — может быть, второго кашля, может быть, шагов, может быть, голоса, который скажет что-то, чего он никогда не слышал. Но он знал, что не сможет уснуть. Не сможет перестать слушать.

Внутри его деревянной груди, там, где когда-то были врезаны буквы названия мастерской, что-то дрогнуло. Не сердце — сердца у него не было. Просто доска чуть согнулась под давлением пустоты.

Кто-то есть, — подумал он. Я не один.

И впервые за сто лет, а может быть, за двести, Скрипун

сделал то, чего не делал никогда, — он попытался позвать. Не скрипом, не движением. Он просто напряг свою пустоту внутри, как напрягают горло перед криком.

Но крика не вышло. Из него вырвался только воздух — сухой, старый, застоявшийся. Он просочился через щели в голове и ушёл вверх, к сцене, к балкону, туда, где кто-то кашлянул и замолчал.

Воздух не вернулся.

Скрипун лежал в темноте и слушал. Слушал тишину, которая ждала вместе с ним.

Глава 1. Трещина

Он проснулся затемно.

«Проснулся» — неточное слово. Механизм его внутреннего расписания сработал, как всегда, в момент, когда серый свет, сочащийся сквозь щели в крыше, достиг определённой степени плотности. Худрук не знал, сколько времени прошло — часы на стене остановились в ту ночь, когда в последний раз хлопнула дверь зала. Но его тело помнило ритуал. Оно

просыпалось само.

Он поднялся с продавленного кресла, в котором просидел всю ночь. Деревянные ноги издали привычный скрип. Левое колено чуть заедало — влажность последних десятилетий сделала своё дело. Он потянулся к банке с машинным маслом, стоящей на гримёрном столике, и капнул две капли в шарнир. Масло было густым, тёплым — он грел его на ладони каждое утро, хотя тепло давно не имело значения. Просто привычка. Просто ритуал.

Он провёл пальцем по столешнице. Пыль. Всегда пыль. Он вытирал её каждую ночь, но к утру она возвращалась. Словно театр сам производил пыль, как тело — тепло. Никто не останавливал его. Никто не убирал за ним.

Так. Начинаем.

Он вышел из гримёрки и направился к сцене. Останавливаясь на каждой половице, прислушиваясь к тому, как она поёт под его тяжестью. Одна — звонче, другая — глуше, третья — с лёгким треском. Он знал их все по имени, хотя имён у досок не было. Он просто знал их голоса.

Сегодня пол вёл себя странно.

Скрипунов было больше обычного. Или ему казалось. Или он просто искал их, чтобы не слышать другое.

Ночью ему почудился звук. Что-то похожее на детское гуление. Оно пришло не из зала, не со сцены, не из оркестровой ямы — изнутри. Из того места между стен, где заканчиваются фанерные щиты и начинается пустота. Он не пошёл проверять. Он зажмурился — точнее, защёлкнул веки — и ждал, пока звук не растает, как утренний туман.

Теперь, стоя на просцениуме, он почти убедил себя, что ему приснилось.

У кукол не бывает снов. Но он помнил этот звук. Он не мог его вспомнить, но он был знакомым. Как будто он слышал его когда-то давно — до того, как научился думать. До того, как его шарниры начали скрипеть на свой собственный лад.

Он провёл рукой по левой кулисе. Проверил натяжение троса. Пальцы скользнули по сухому шёлку. Шарниры запытая идеально сцепились — он сам настроил их вчера перед уходом. Всё в порядке. Всё как всегда. Театр жив своей механической жизнью, даже если зрителей нет.

Худрук перешёл к центру сцены. Нагнулся, проверил люк.

Пластина сидела плотно — ни зазора, ни скрипа. Хорошо. Он выпрямился и сделал шаг к авансцене.

И остановился.

Под его левой ногой раздался звук. Тонкий, высокий, почти прозрачный. Не скрип — треск. Хрупкий, как сухая осенняя ветка.

Он опустил взгляд.

В доске, в самом центре авансцены, шла тонкая трещина. Она начиналась у самой ramпы и уходила налево — к тому месту, где когда-то стояла кровать в спектакле «Ночь перед Рождеством». Её не было вчера. Он проверял. Он всегда проверял.

Худрук медленно опустился на колени. Фарфоровые колённые чашечки стукнули о доски, и этот звук гулко разнёсся по пустому залу. Он провёл пальцем по трещине. Сухая. Острая. Края расслоились, как у старой коры. И она была тёплой. Не от солнца, не от его пальцев. Просто старым, выстоявшимся теплом, которое накапливается в материале за десятилетия тишины.

Он закрыл глаза и прислушался.

В зале было тихо. Слишком тихо. Даже пылинки перестали вращаться в луче света, пробивавшемся из окон под толчком.

Но где-то там, в глубине театра, там, где заканчивался зал и начиналась лестница в гримёрки верхнего яруса, где он никогда не был, потому что у него не было ключей, — оттуда донёлся звук.

Короткий. Влажный. Похожий на всхлип.

Худрук замер. Его пальцы, всё ещё касающиеся трещины, чуть дрогнули. Механика запястья завибрировала от лишнего напряжения — он тут же сжал ладонь в кулак, чтобы остановить дрожь.

Нет. Это сквозняк. Или гниль в трубах. Или я ослышался.

Он поднялся. На секунду задержал ладонь на доске — там, где трещина расходилась веером. Доска дышала. Не как живое — как то, что когда-то было рядом с живым и впитало его. Как старая фотография, на которой ещё есть тёплый отпечаток пальцев.

Он убрал руку. Нарочито медленно, чтобы не нарушить

ритм своего собственного убеждения. Отряхнул колени — хотя на них не было пыли. Он всегда вытирал сцену перед тем, как лечь спать.

Трещина осталась. Она была реальной. Её нельзя было замазать воском, нельзя зашлифовать, нельзя закрыть бутфорским ковром. Она была здесь, в центре его мира, как первый симптом болезни, которую он не умел называть.

Худрук пошёл в гримёрную за банкой с мастикой.

По пути ему показалось, что в оркестровой яме кто-то скрипнул — длинно, тоскливо, с надрывом. Он узнал этот скрип. Скрипун. Вечный скептик.

Худрук остановился у края сцены и посмотрел вниз, в тень. Свет из щелей почти не проникал туда. Только тьма. Он ударил кулаком по грудной клетке. Дерево его груди издало резонирующий удар — бум.

Из ямы донёсся ответный скрип. Осторожный, вопросительный: «Ты тоже?»

Худрук сделал шаг назад.

— Я ничего не слышал, — проговорил он. Сухо, трескуче,

как листья под ногами. — Это была не я.

Он соврал. Он не умел врать — у него не было для этого механики. Но он соврал. Ложь, прозвучавшая как треск сухого дерева, была первой по-настоящему человеческой вещью, которую он сделал за сто лет.

Он развернулся и пошёл в гримёрную, оставляя позади сцену с трещиной и яму, в которой Скрипун затих, но не перестал слушать.

В гримёрной он открыл банку с мастикой. Внутри было пусто. Кусок воска, лежащий на дне, успел высохнуть и потрескаться. Он уже не годился для починки — он сам требовал починки.

Худрук посмотрел на свои руки. На шарниры пальцев, на стёршийся фарфор суставов, на царапины, оставленные многолетними спектаклями. И впервые за долгие, долгие годы он не знал, что делать дальше.

Не знал, чем замазать трещину.

Не знал, как заглушить звук.

Не знал, как объяснить себе, что этот звук был.

Он сел в кресло, положил руки на колени и замер.

В пустоте его головы качнулась бронзовая ложка. Не сильно — едва заметно, как маятник в застывшем времени. Она качнулась. Впервые за всё время, что он помнил себя, — а он помнил только тишину.

Он не знал, что это значит. Но где-то в оркестровой яме Скрипун услышал тонкий звон и понял: внутри Худрука что-то проснулось. И это было страшнее, чем любой скрип.

Глава 2. Сорок семь

Он заставил их повторять сцену сорок семь раз.

Сорок семь — Худрук считал. Не потому, что ему было важно число. Просто счёт удерживал его здесь, в этом моменте, не давая уйти туда, где в пустоте его головы всё ещё звенела бронзовая ложка, хотя он давно перестал качаться.

— Сначала, — скомандовал он. Удар кулаком по груди.
Бум. — Сначала.

Капля вышла из-за левой кулисы. Её походка была идеальной — Худрук сам калибровал её шарниры на прошлой неделе. Плавный шаг, лёгкий наклон корпуса, рука, протянутая к пустоте, где должен был стоять чемодан. Она была красивой. Восковая, с идеальными чертами лица, с вплавленными в щёки слезами, которые она не могла пролить.

Манекен-мужчина стоял в центре. Его звали просто — «Мужчина». У него не было имени, потому что он не заслужил. Он играл уезжающего. Тот, кто уходит, не имеет имени — только направление.

— Платформа, — сказал Худрук. — Слева — чемодан. Ты — провожающая. Ты — уезжающий.

Капля остановилась в трёх шагах от Мужчины. Её восковое лицо застыло в идеальной маске скорби — Худрук вылепил это выражение лично, смешав жёлтый пигмент с каплей чёрного. Слезы, которые она не могла пролить, были вплавлены в её щёки навсегда. Она смотрела на Мужчину, и её стеклянные глаза блестели в свете рамп.

— Начали, — сказал Худрук.

Капля подняла руку. Мужчина поднял свою. Они должны были изобразить прощание. Медленное, щемящее, с недо-

сказанностью.

Вместо этого Мужчина дёрнул кистью резко, как будто отмахивался от мухи. Капля вздрогнула — её плечевой шарнир издал короткий скрип.

— Стоп, — сказал Худрук. — Зачем ты дёргаешь? Человек машет медленно. Он не хочет уезжать.

Мужчина опустил руку. Его челюсть чуть приоткрылась — он пытался что-то сказать, но динамик в его горле был сломан уже лет пятьдесят. Вместо слов из него вырвался только сухой свист.

— Ещё раз, — сказал Худрук.

Они повторили.

Капля шагнула вперёд. Мужчина качнулся ей навстречу. Их лица сблизились — фарфор и воск, два материала, которые никогда не должны были соприкасаться. Капля попыталась изобразить поцелуй. Её восковые губы дрогнули.

Мужчина отшатнулся.

— Стоп, — сказал Худрук. — Ты боишься её?

Мужчина не ответил. Он просто стоял, глядя в пол, и его деревянные пальцы чуть подрагивали — от напряжения или от старости, Худрук не знал.

— Она не кусается, — сказал Худрук. — Она восковая. Ты не можешь её испортить. Ты сам — дерево. Вы оба неживые.

В зале раздался скрип. Кто-то из зрителей — старый ма-некен с отбитой щекой — нервно повернул голову. Худрук не обернулся. Он смотрел на Мужчину.

— Ещё раз.

Третий раз. Четвёртый. Пятый.

Каждый раз одно и то же: Капля протягивает руку, Мужчина дёргается, сцена ломается. Худрук не мог понять, почему. Он выверял каждое движение, каждый градус наклона. Всё было рассчитано до миллиметра. Но человеческая пластика ускользала от них, как вода сквозь пальцы.

На двадцатом повторе у Мужчины начала подгибаться правая нога. Коленный шарнир разболтался от перегрузки. Худрук заметил это, но не остановил репетицию.

— Продолжаем, — сказал он.

На тридцать пятом повторе Мужчина споткнулся. Его левая рука взметнулась вверх, пытаясь удержать равновесие. Это движение было случайным. Оно не было заложено в сценарий. И оно было идеальным.

— Стоп, — сказал Худрук. — Сделай это снова.

Мужчина замер. Он не знал, что именно ему нужно повторить. Он просто стоял, неуклюже выставив руку вперёд.

— Это же прощание, — прошептал Худрук, хотя динамик его горла не был рассчитан на шёпот. — Ты не хочешь уезжать. Ты ищешь предлог, чтобы остаться. Поэтому ты машешь рукой, но не отпускаешь её. Ты прощаешься, но не уходишь.

Он подошёл к Мужчине и взял его за руку. Фарфоровые пальцы сомкнулись на деревянном запястье.

— Ты должен держать её руку, — сказал Худрук. — Не отпускать. Даже когда она уходит. Понимаешь?

Мужчина не ответил.

— Понимаешь? — повторил Худрук, и в его голосе — в том, что пыталось быть голосом — слышалась вибрация, похожая на отчаяние.

Мужчина медленно, очень медленно, поднял глаза. Его стеклянные зрачки встретились с пустыми глазницами Худрука. И он сделал то, чего от него не просили.

Он разжал пальцы.

Капля, стоявшая рядом, внезапно шагнула вперёд и взяла его руку. Восковые пальцы обхватили деревянную ладонь. Она сжала их слишком сильно — так, что шарниры Мужчины закрипели.

— Не уходи, — попыталась сказать она. Её речевой аппарат издал звук, похожий на звон разбитого стакана, но слова не сложились.

Худрук смотрел на них. На двух манекенов, которые не могли говорить, не могли плакать, не могли даже обняться по-человечески. И впервые он почувствовал нечто, чего не было в его программе.

Ему стало стыдно.

Он понял, что они никогда не сыграют эту сцену правильно. Потому что для этого нужно было уметь отпускать. А они не умели даже держать.

— Ещё раз, — сказал он тихо.

Но Мужчина не двинулся с места. Его голова медленно опустилась на грудь. Шарниры шеи издали последний звук — короткий, сухой, похожий на вздох.

И его левая рука, перегруженная сорока семью попытками, отвалилась в запястье и упала на доски сцены с глухим стуком.

Тук.

Капля посмотрела на оторванную кисть. Потом на Мужчину. Потом на Худрука.

Она медленно опустилась на колени — восковые колени сплющились от давления — и подняла руку. Она держала её, как держат птицу с перебитым крылом, не зная, что с ней делать.

— Так даже лучше, — сказала она.

Её голос был похож на звон хрусталя, идущего трещинами.

— Он оставил мне руку. Значит, вернётся.

Зал скрипнул одобрительно — десятки шейных позвонков повернулись синхронно. Это была их версия аплодисментов.

Худрук стоял неподвижно. Он смотрел на восковую женщину, которая держала чужую руку, и на мужчину без кисти, который стоял рядом и не мог её забрать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.